

remmea



ПЕПЕЛ ЖЕМЧУЖНОГО ТРОНА

Чёрная лиса

18+

Лея Миллер

Пепел жемчужного трона

«Автор»

2026

Миллер Л.

Пепел жемчужного трона / Л. Миллер — «Автор», 2026

Бохай, VIII век. Империя, где императоры женятся на дочерях духов, а правду прячут под расшитыми халатами. Советник Асахи возвращается из трёхлетней ссылки, чтобы расследовать убийство. Он опаздывает — его друг мёртв. В руке убитого — монета с чёрной лисой. Рядом с телом — запах ириса, духов, которые носит только одна женщина. Холодная красавица-вдова. Циничный князь с бельмом на глазу. Шаманка, которая смотрит жуками. И сестра Асахи, работающая в прачечной, откуда исчезают девушки. Три дня на расследование. Выбор между правдой и безопасностью близких. И любовь, которая становится самым страшным оружием. Пепел не спит. Кто помнит пожар — тот не боится искр.

© Миллер Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая	10

Лея Миллер

Пепел жемчужного трона

Пролог

ПРОЛОГ

«Тот, кто помнит пожар»

Порт Уго, три года назад.

Восьмой день шестого месяца, год Чёрного Кабана.

Порт Уго встречал прибывших запахом тухлой рыбы и человеческого отчаяния. Деревянные причалы, скользкие от водорослей и крови, уходили в море, как пальцы утопленника. Над водой стоял туман — не белый, а серый, похожий на грязную вату, в которой тонули даже крики чаек. Город, если это можно было назвать городом, лепился к скалам: лачуги из досок, покрытые тростником, с покосившимися дверьми и окнами, затянутыми бычьим пузырём вместо стекла.

Повозка, в которой меня везли три недели из столицы, наконец остановилась. Колеса увязли в грязи по самую ступицу. Я откинул полог — внутрь ворвался ветер, солёный, липкий, и я впервые за долгое время вздохнул свободно, хотя воздух этот вонял разложением.

— Выходи, советник, — сказал конвойный, спрыгивая с козел. Он был молод, лет двадцать, с лицом, которое ещё не успело огрубеть от постоянного жестокого труда. Но глаза уже были мёртвыми. Такие глаза я видел у стариков, которые пережили голод и войну. — Приехали. Твоё новое жильё.

Я спрыгнул в грязь. Сапоги утонули по щиколотку. Хлюпнуло. Запах ударил в нос с новой силой — к рыбе и гниющим водорослям добавился знакомый солоновато-сладкий медный привкус крови. Где-то неподалёку разделявали тушу кита. Или человека — здесь, в порту, граница между животным и человеческим была тонкой, как лёд на весенней реке.

— А здесь красиво, — сказал я, рассматривая грязные стены, облезлые крыши и фигуры в лохмотьях, которые копошились у причалов, как черви в падали. — Почему меня сослали не в курорт?

Конвойный не улыбнулся.

— Тебе повезло, что тебя вообще не казнили, — сказал он без злобы, скорее устало. — Связи с мятежниками. Император мог отрубить голову. А он дал тебе порт. Говорят, ты раньше был кем-то важным.

— Говорят, — ответил я. — Лгут.

Он пожал плечами и махнул рукой в сторону узкой улочки, уходящей вверх, к скалам.

— Там, в конце, дом с красной дверью. Твой. Хозяина зовут старик Хэсу. Он знает, что ты приедешь. Не вздумай сбежать — стража на вышках, стреляют без предупреждения. Твоя зона — порт и рынок. Выход в степь — смерть. Понял?

Я не ответил. Я смотрел на море. Серое, бесконечное, равнодушное. Оно простиралось до горизонта, сливаясь с небом такой же серой полосой. Никакого различия между водой и воздухом. Никакой надежды на завтра — только вечное сегодня, вечный туман, вечный запах гниения.

Три года, — подумал я. — Три года я должен прожить здесь, среди отбросов, вдали от трона, от правды, от лица убийцы моего отца.

Конвойный уехал. Повозка заскрипела, увязая в грязи, и вскоре исчезла за поворотом. Я остался один.

— Ну что ж, — сказал я вслух. — Добро пожаловать домой.

Старик Хэсу оказался сморщенным, как печёное яблоко, с руками, покрытыми татуировками, смысл которых стёрся от времени. Он ходил босиком даже по камням, даже зимой, и никогда не снимал с шеи мешочек с сушёными грибами и зубами — оберег от морской болезни, хотя моря он боялся до дрожи.

— Советник, — сказал он, открывая дверь. Голос его звучал так, будто внутри перекачивались гальки. — Входи. Дворец, конечно, не столичный, но крыша не течёт. Пока.

Дом был маленьким: одна комната с очагом, лежанка из досок, покрытая истлевшим одеялом, и стол на трёх ножках. Четвёртая ножка была заменена камнем. На стенах — копать от лампы, на потолке — следы протечек, напоминавшие карту неизвестной страны. В углу — старый ткацкий станок, покрытый пылью.

— Ткал? — спросил я, кивая на станок.

— Жена ткала, — ответил Хэсу, не глядя в мою сторону. — Умерла. Восемь лет назад. С тех пор станок стоит.

Он помолчал, потом добавил:

— Ты не первый ссыльный, кого я принимаю. Будешь жить здесь, пока не вызовут обратно или пока не умрёшь. Я буду готовить, стирать, молчать. За это — медяк в день. Императорская казна платит?

Я достал из рукава мешочек с монетами, бросил на стол.

— На первое время хватит, — сказал я. — А теперь скажи, старик: кто здесь главный в порту? Кто решает, кому жить, а кому тонуть?

Хэсу посмотрел на меня. В его старческих глазах, мутных от катаракты, мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Ты умён, — сказал он. — Ссыльные обычно первые дни плачут или пьют. А ты спрашиваешь о власти. Это хорошо. Здесь власть у портового смотрителя. Его зовут Ким.

Я замер.

— Ким? — переспросил я. — Советник Ким?

— Был советником, — поправил Хэсу. — Теперь — смотритель. Тоже сослан. Тоже когда-то был при дворе. Только он тут уже... — старик задумался, — семь лет. Он решает, кому плыть, кому остаться, кому жить, а кому утонуть в море. К нему ходят на поклон. И ты пойдёшь.

— Пойду, — согласился я. — Завтра. А сегодня... — я опустился на лежанку, чувствуя, как усталость трёхнедельной дороги наваливается на плечи. — Сегодня я впервые за три года посплю на твёрдом. В столице даже у ссыльных были подушки.

— Подушек нет, — буркнул Хэсу. — Есть мох. Собирай сам.

Он вышел, оставив меня одного. За дверью шумело море, кричали чайки, где-то плакал ребёнок — монотонно, безнадежно, как будто знал, что жизнь уже никогда не станет лучше. Я лёг, не раздеваясь, и закрыл глаза.

В темноте передо мной встало лицо отца. В последний раз я видел его на эшафоте — спокойного, с седой бородой, с руками, связанными за спиной, но с глазами, которые не просили пощады.

«Пепел не спит», — сказал он, глядя на меня. — «Золой дышит. Кто помнит пожар — тот не боится искр».

Палач дёрнул верёвку. Тело отца дёрнулось, повисло, и больше он не сказал ничего.

Я открыл глаза.

Потолок с протечками смотрел на меня, как лицо без глаз.

— Я помню, отец, — прошептал я в темноту. — Я помню пожар.

Море за окном завывало, как зверь, которому вырвали клык.

[Портовая чайхана]

На следующий день я пошёл искать советника Кима.

Портовая чайхана стояла на самом берегу, на сваях, вбитых прямо в воду. Пол качался, когда волна била в опоры, и казалось, что ты не на суше, а на корабле, который вот-вот утонет. Внутри пахло перегоревшим маслом, кислым вином и потом — густым, тяжёлым, как туман снаружи. За низкими столиками сидели матросы с лицами, обветренными до состояния старой кожи. Они пили, играли в кости из черепаших панцирей и говорили на трёх языках — бохайском, киданьском и каком-то третьем, гортанном, похожем на кашель умирающего. В дальнем углу, у окна, выходящего на море, сидел один человек.

Я узнал его сразу, хотя прошло семь лет. Ким постарел: волосы, когда-то чёрные, стали пегими, как старая лошадь; лицо покрылось глубокими морщинами, которые не были признаком мудрости — только страдания. Но осанка осталась прежней — прямая, как меч, будто он всё ещё сидел в Палате докладов, а не в портовой чайхане среди пьяниц и воров.

Я подошёл. Остановился. Не поклонился — мы были равны по положению, оба ссыльные, оба изгнанники.

— Ким, — сказал я.

Он поднял глаза. Жёлтые белки, красные прожилки. Смотрел долго, изучающе, как смотрят на товар, который собираются купить — или украсть.

— Асахи, — произнёс он наконец. — Проклятый род Асахи, чей отец сжёг храм Семи Звёзд. Сын поджигателя. Добро пожаловать в ад. Садись.

Я сел напротив. Между нами на столе стояла глиняная чашка с чем-то тёмным, похожим на жидкую грязь.

— Это не чай, — сказал Ким, заметив мой взгляд. — Это отвар из корней. Пьют здесь, чтобы не заболеть лихорадкой. На вкус — как моча умирающего. Но привыкаешь.

— Я не за этим пришёл, — сказал я.

— Я знаю, зачем ты пришёл, — он отхлебнул из чашки, поморщился. — Ты пришёл спросить, кто убил твоего отца. И я отвечу. Никто. Твой отец сжёг храм сам.

Я не дёрнулся. Не ударил. Сидел, как сидел, внешне спокойный, хотя внутри всё кипело.

— Это ложь, — сказал я.

— Это истина, — он поставил чашку, посмотрел мне прямо в глаза. — Твой отец был хранителем храма Семи Звёзд. И он знал тайну, которую должен был унести с собой в могилу. Тайну о происхождении императора. Кто-то узнал, что он знает. Ему предложили выбор: сжечь храм и покончить с собой — или сожгут его семью, одну за другой, медленно, так, чтобы он слышал каждый крик. Он выбрал первое.

— Кто? — спросил я. Голос был чужим, будто не мой. — Кто ему предложил?

Ким покачал головой.

— Ты не готов это знать. Ты здесь, в порту, среди грязи и отбросов, потому что ты слаб. Ты даже не смог защитить свою сестру.

Я вскочил. Стол перевернулся, чашка разбилась, чёрная жижа растеклась по доскам.

— Не смей говорить о ней, — сказал я тихо. Так тихо, что сам едва слышал.

— Твоя сестра жива, — сказал Ким спокойно, как будто ничего не произошло. — Её не казнили. Её сослали в монастырь на северной границе. Она стала монахиней. Или наложницей. Я не следил.

— В какой монастырь? — спросил я, почти выкрикнул.

Ким помолчал, глядя на меня. Потом ответил:

— Храм Забытых Звезд. Тот самый, куда ссылают неугодных. Она там уже тринадцать лет.

Я замер.

Тринадцать лет. Моя сестра Со Намджу провела тринадцать лет в каменном мешке среди снегов, пока я был здесь, в порту, и в столице. Я стоял, глядя на него. Дыхание сбилось. В ушах шумело море, или это была кровь — трудно было понять.

— Почему ты говоришь мне это сейчас? — спросил я. — Почему не сказал раньше?

— Потому что раньше ты не спрашивал, — Ким поднялся, оказавшись ниже меня ростом, но не сломленный. — И потому что раньше ты ничего не мог изменить. А сейчас... — он сунул руку за пазуху, достал клочок бумаги. — Сейчас она не в монастыре. Её перевели. В столицу. В императорский дворец.

Он протянул бумагу. Я взял. На листке было всего несколько строк, но я перечитал их раз десять:

«Со Намджу, дочь казненного Асахи, переведена из Храма Забытых Звёзд в императорский дворец. Определена в прачечную южного крыла. Состояние здоровья: удовлетворительное. Под надзором: старшая служанка Хван»

Внизу стояла печать — не императорская, другая, с изображением чёрной лисы.

— Что это значит? — спросил я, поднимая глаза на Кима. — Почему её перевели? Через тринадцать лет?

Ким покачал головой.

— Не знаю. Но знаю, что культ Чёрной лисы снова поднимает голову. И твоя сестра — не случайно во дворце. Кто-то её туда поместил. Кто-то, кто знает, кто ты.

Я сжал бумагу в кулаке.

— Я выберусь из этого порта, — сказал я. — Я вернусь в столицу. И найду её.

— Найдешь, — кивнул Ким. — Но помни: правда тебя убьет быстрее, чем меч.

Он встал и вышел из чайханы, оставив меня одного среди разбитой чашки и чёрной лужи.

Остаток того дня я просидел на берегу.

Море билось в камни, отступало, билось снова — бесконечно, равнодушно, как сама судьба. Чайки кружили над головой, выкрикивая что-то злое и непонятное. На западе, там, где была столица, небо темнело — не тучами, а дымом. Кто-то жёг поля. Или дома. Или людей — в Бохай разница была незаметна.

Я сжимал в руке бумагу с лисьей печатью и думал о сестре. Нам было по десять лет, когда казнили отца. Её забрали в тот же день — в чёрной повозке, без окон, без надежды. Я бежал за повозкой, пока не упал, и помню только её руку, высунувшуюся из щели, — маленькую, тонкую, с истерзанными ногтями. Она махала мне. Прощалась.

А я не мог ничего сделать.

Я был слаб.

— Но больше не буду, — сказал я морю.

Море не ответило.

Три года в порту Уго стали для меня школой, которую я не выбирал. Ким оказался не врагом — он оказался учителем. По ночам, когда чайхана пустела, он рассказывал мне о заговорах, об императорском дворе, о культах и тайных обществах. Днём я работал на причалах, грузил тюки с шёлком и пряностями, учился драться с матросами, которые не признавали правил, учился пить так, чтобы не пьянеть, учился молчать так, чтобы не выдать себя.

— Ты меняешься, — сказал Ким однажды, через два года после моего прибытия. — В тебе появляется что-то опасное. Раньше ты был щенком, который лает. Теперь ты волк, который ждёт.

— Я всегда был волком, — ответил я. — Просто меня держали на цепи.

— Теперь цепи нет, — он усмехнулся. — Император сам позвал тебя обратно. Я получил письмо сегодня утром.

Я замер.

— Что? Когда?

— Через месяц. Может, раньше. Императору нужен советник, который умеет расследовать убийства. Его любимый евнух мёртв. И он подозревает, что это не случайность.

Я молчал. Сердце колотилось где-то в горле.

— Ким, — сказал я. — Ты знаешь, кто убил евнуха?

Он покачал головой.

— Не знаю. Но знаю, кто будет следующим, если ты не успеешь. — Он посмотрел на меня. — Твоя сестра. Она во дворце. И она в опасности.

В ту ночь я не спал. Я смотрел на луну, которая висела над морем, как жемчужина на чёрном бархате, и думал.

Три года. Три года я ждал этого момента.

Прости, отец. Ты учил меня, что месть — это яд, который пьёшь сам, надеясь отравить другого. Но я не мщу. Я защищаю. И если для этого нужно переступить через правду, через честь, через собственную душу — я переступлю. Луна скрылась за тучей. Стало темно.

Через три недели пришёл гонец. Он не был похож на обычного посыльного — дорогой халат, чёрный пояс из кожи ската, золотая печать на поясе. Личный посланник императора. Такие не появляются просто так.

— Советник Асахи? — спросил он, хотя знал ответ.

— Да, — сказал я.

— Император повелевает вам немедленно вернуться в столицу. Дело советника Кима.

Я взял свиток. Развернул. Иероглифы, написанные рукой самого правителя — я узнал почерк, хотя видел его всего дважды в жизни.

«Ты нужен мне, — писал император. — Тот, кто помнит пожар, не боится искр».

Я поднял глаза. Гонец ждал.

— Советник Ким, — сказал я. — Где он?

Гонец опустил взгляд.

— Советник Ким... убит прошлой ночью. В Западном дворе. Поэтому император зовёт вас. Вы — единственный, кому он доверяет.

Я сжал свиток так, что хрустнула бумага.

Ким мёртв.

Тот, кто учил меня выживать. Тот, кто знал тайну отца. Тот, кто знал о сестре. Тот, кто должен был поехать со мной в столицу.

— Когда я должен выезжать? — спросил я.

— Сегодня, — ответил гонец. — Повозка ждёт.

Я кивнул. Обернулся на дом с красной дверью, где три года жил среди грязи и надежды.

Хэсу стоял на пороге, глядя на меня мутными глазами.

— Уезжаешь, советник? — спросил он.

— Уезжаю, старик.

— Вернёшься?

— Не знаю.

Он помолчал, потом достал из-за пазухи тканый браслет — грубый, из крашенных нитей, с узелками на концах.

— Жена ткала когда-то, — сказал он. — На счастье. Бери.

Я взял. Надел на запястье.

— Спасибо, Хэсу.

— Не благодари, — старик махнул рукой. — Просто убей того, кто убил Кима. Он был хорошим человеком. Для ссыльного.

Я сел в повозку. Колеса увязли в грязи, потом выбрались. Дорога пошла вверх, к перевалу. Порт Уго остался позади — серый, вонючий, убогий. Но я увозил оттуда не только браслет и шрамы на руках.

Я увозил знание. И жажду.

Ким, я найду твоего убийцу. И когда найду — я посмотрю ему в глаза и спрошу: *«Помнишь ли ты пожар?»* А потом сделаю так, чтобы он запомнил навсегда.

Глава первая

Когда я уезжал из Верхней столицы, стояла ранняя весна. Дождь смывал с мостовой прошлогоднюю пыль, торговцы спорили из-за цены на соль, а на дворцовых крышах кричали ласточки. К вечеру над Верхней столицей поднялся туман. Я помнил его другим. В детстве он казался живым существом, которое приходит с реки, чтобы спрятать дома, дворцы и людей до самого рассвета. Отец говорил, что это обычная влага и холодный ветер, но я ему не верил. Мне нравилось думать, что столица каждую ночь исчезает, а утром рождается заново. Через три года я понял, что исчезать умеют не только города. Повозка остановилась перед главными воротами. Возница оглянулся.

— Господин, дальше пешком.

Я кивнул, поднял дорожную сумку и прыгнул на землю. За время ссылки я привык носить вещи сам. На севере никто не спрашивал, сын ли ты советника или грузчика. Если можешь поднять мешок с солью — работаешь. Если не можешь — ищешь другую работу. Полезная привычка. Иногда она спасает от воспоминаний. Ворота Верхней столицы закрывались на ночь ещё до захода солнца. Таков был новый порядок. Стражники проверяли каждого путника дольше, чем требовал устав, а на башнях горели двойные фонари. Я поднял голову. Ворота были всё такими же. Старые балки потемнели от времени, железные полосы покрылись рыжей ржавчиной, а у каменного льва возле входа по-прежнему не хватало клыка. Когда-то я был уверен, что его отбил демон во время осады столицы. Потом отец признался, что в льва просто въехала телега с рисом. Мне всегда нравилось, что правда оказывается смешнее легенд. Очередь двигалась медленно. Молодой солдат, до которого дошла моя очередь, выглядел так, словно впервые дежурил без старшего.

— Имя?

Он держал кисть так крепко, словно собирался защищаться ею вместо копья.

— Асахи.

Он записал его в свиток.

— Род?

Я молча протянул дощечку с государственной печатью. Юноша прочитал первую строку и вдруг перестал дышать. Потом посмотрел на меня. Потом снова на дощечку. Я слишком хорошо знал этот взгляд. Так смотрят люди, которые слышали о тебе чужие истории и неожиданно встречают их героя. За его спиной старший стражник поднялся со скамьи. Седой, сутулый, с лицом человека, который видел слишком много смертей, оно показалось мне знакомым, хотя прошло немало времени. Он молча забрал у солдата мою дощечку, провёл пальцем по печати и усмехнулся.

— Всё-таки вернулся.

— Как видишь.

Он внимательно посмотрел мне в глаза.

— Город не любит тех, кто возвращается обратно.

— Я тоже.

Несколько мгновений он молчал, словно сравнивал эти два утверждения. Потом вернул мне дощечку.

— Не ходи сегодня поздно один.

— Это совет?

— Это привычка старого человека.

Ворота открылись. Я вошёл в город. И почти сразу понял, что старик был прав. Столица действительно изменилась. Нет, дворец всё так же возвышался над крышами домов, а красные стены по-прежнему отражали последние лучи солнца. Рыночная площадь осталась на прежнем

месте, мост через канал никто не перестраивал, а лавка резчика по дереву всё ещё пахла свежей стружкой. Изменились люди. Они стали говорить тише. Стали чаще оглядываться. Стали быстрее закрывать двери. Навстречу шла женщина с корзиной зелени. Она подняла глаза, встретилась со мной взглядом и неожиданно замедлила шаг. Кажется, узнала. Но ничего не сказала. Только чуть заметно поклонилась и пошла дальше. Я ответил тем же. Три года назад подобный поклон означал уважение. Теперь он больше напоминал осторожность. Я медленно двинулся по знакомой улице.

За это время исчезла кузница старого Чина. На её месте появился маленький буддийский алтарь с десятком свежих свечей. Закрылся чайный дом, где мы когда-то спорили с Кимом о государственных реформах. Даже вывеска исчезла, словно хозяин хотел стереть память о своём заведении. Странное чувство. Я узнавал каждый поворот, каждую сосну, каждый камень мостовой. И одновременно чувствовал себя чужим. Наверное, именно так выглядит возвращение домой после слишком долгого отсутствия. Ты помнишь город. А город уже начал забывать тебя. До Палаты докладов я дошёл уже в сумерках. Когда-то мне казалось, что это самое скучное здание во всей столице. Никакой роскоши, никаких резных драконов на карнизах, никаких цветных крыш. Простые серые стены, тяжёлые деревянные двери и небольшой двор, где росла старая сосна. Теперь я смотрел на неё так, словно встретил человека, которого давно считал умершим. Сосна стала выше. Или это я стал смотреть на неё снизу. Ворота оказались не заперты. Я толкнул створку и вошёл во двор. Под ногами тихо зашуршал гравий. Где-то в глубине здания скрипнула половица. Потом снова стало тихо. Несколько мгновений я просто стоял, вдыхая знакомый запах старого дерева, бумаги и туши. Странно, но именно этот запах я вспоминал чаще всего на севере. Не море, не горы и не собственный дом, а комнаты, где десятки чиновников годами переписывали указы, составляли отчёты и спорили о правильном написании одного иероглифа. Наверное, человек привыкает к тому месту, где проводит большую часть жизни.

— Я уж думал, ты не придёшь.

Голос раздался совсем рядом. Я обернулся. Из сторожки вышел пожилой смотритель с фонарём в руках. Несколько секунд он молча рассматривал меня. Потом протянул фонарь ближе и нахмурился.

— Совсем худой.

Я улыбнулся.

— Сегодня мне уже говорили это.

— Значит, не соврали.

Он подошёл ближе и неожиданно крепко обнял меня за плечи. Так крепко, что я на мгновение растерялся. За три года никто не встречал меня подобным образом. Ни рыбаки в порту, ни хозяева постоялых дворов, ни чиновники, которые присылали распоряжения. Смотритель быстро отпустил меня и сделал вид, что ничего не произошло.

— Старею. Стал сентиментальным.

— Это опаснее любой болезни.

— Не умничай.

Он достал из-за пояса связку ключей. Железо тихо звякнуло.

— Кабинет никто не занимал.

Я удивлённо посмотрел на него.

— Почему?

Старик пожал плечами.

— Одни говорили, что тебя казнят. Другие были уверены, что никогда не вернёшься. А потом все привыкли.

Он открыл дверь. Внутри было темно. Я зажёл свечу. Пламя дрогнуло, осветив знакомые полки, низкий стол и широкое окно, выходившее во двор. На подоконнике всё ещё стояла глиняная чашка. Я медленно подошёл к ней. Провёл пальцем по краю. Пыли почти не было.

— Ты убирался?

Смотритель фыркнул.

— Не люблю беспорядок.

— Три года?

— Некоторые вещи лучше не трогать.

Я ничего не ответил. Иногда люди заботятся друг о друге очень странным способом. Не пишут писем. Не произносят громких слов. Просто время от времени стирают пыль с чужой чашки.

Пока я раскладывал дорожные вещи, совсем стемнело. За окном зажглись фонари. Во двор упали длинные тени сосны. Я уже собирался закрыть ставни, когда услышал торопливые шаги. Во двор вбежал молодой чиновник. Он остановился у крыльца, несколько раз глубоко вдохнул и только потом поднялся. Новая форма сидела на нём слишком аккуратно. Рукава ещё не успели потереться о столы и свитки. Видимо, недавно получил должность. Он поклонился так низко, что едва не выронил свёрнутый приказ.

— Господин Асахи...

— Поднимайся. Мне неловко смотреть на чужую макушку.

Юноша смущённо выпрямился.

— Меня зовут Мён Джун.

Я кивнул.

— Первый год службы?

Он удивлённо моргнул.

— Да.

— Это заметно.

— Почему?

— Ты ещё спешишь выполнять приказы.

Он задумался. Потом осторожно улыбнулся. Кажется, не понял, шучу я или нет.

— Мне велено передать вам приглашение во дворец.

Он протянул свиток. Императорская печать была настоящей. Красный шёлковый шнурок затянут по всем правилам. Я развернул бумагу. Всего несколько строк.

«Явиться после первого утреннего колокола».

Без объяснений. Без причины. Так обычно пишут люди, которым не приходится объяснять свои желания. Я свернул приказ.

— Благодарю.

Мён Джун не уходил. Он смотрел на меня с тем самым любопытством, которое невозможно скрыть. Наконец спросил:

— Простите... Это правда, что во время ссылки вы работали грузчиком?

— Правда.

— И сами носили мешки?

— А кто должен был делать это за меня?

Он смутился.

— Я думал...

— Что советники не умеют работать руками?

Юноша окончательно покраснел. Я неожиданно рассмеялся. Первый раз за очень долгое время. И понял, что смех в этом доме звучит непривычно.словно его здесь давно не было. Мён Джун ушёл не сразу. Несмотря на то что приказ был передан и формально его обязанности на этом заканчивались, юноша ещё несколько мгновений стоял у двери, явно колеб-

лясь между воспитанием, которое требовало немедленно отклоняться, и любопытством, свойственным человеку, впервые столкнувшемуся с живой легендой, о которой он прежде слышал только шёпотом в архивных комнатах и чиновничьих коридорах. Я сделал вид, что не замечаю его нерешительности, и спокойно развязал дорожный узел, достав из него потёртую тёмную накидку. За три года солёный морской ветер так въелся в ткань, что мне казалось, будто запах смолы и водорослей останется со мной навсегда, даже если я снова проживу в столице десятков лет.

— Господин Асахи...

Он всё-таки решился.

— Да?

— Если вопрос покажется вам неуместным, можете не отвечать.

Я посмотрел на него и неожиданно вспомнил самого себя в его возрасте. Мне тоже казалось, что любую тайну можно раскрыть одним удачно заданным вопросом. Потом жизнь доказала обратное. Самые опасные ответы люди получают тогда, когда уже перестают спрашивать.

— Спрашивай.

Мён Джун опустил взгляд.

— Это правда, что ваш отец до последнего отрицал свою вину?

В комнате стало очень тихо. За окном ветер прошёлся по сосновым ветвям, и хвоя негромко зашуршала, словно кто-то перелистывал старую книгу. Юноша, вероятно, сразу понял свою ошибку, потому что поспешно поклонился.

— Простите. Мне не следовало...

— Не следовало, — спокойно согласился я. — Но раз уж спросил, отвечу.

Я поставил чашку на стол и некоторое время смотрел на её шероховатую поверхность. Когда-то эту посуду сделал деревенский мастер, который уверял, что хорошая глина хранит тепло рук человека лучше любого шёлка. Тогда я только улыбнулся его словам. Теперь же вдруг поймал себя на мысли, что чашка действительно кажется знакомой, почти живой, как старый друг, переживший вместе с тобой слишком многое.

— Мой отец никогда не отрицал обвинений, — произнёс я наконец. — Он просто отказался оправдываться.

Мён Джун медленно поднял голову.

— Почему?

— Потому что был уверен: люди, которые уже приняли решение, не слушают объяснений.

Юноша задумался, словно услышал не ответ, а загадку. Наверное, так оно и было. Почти все важные разговоры в моей жизни становились понятны только спустя годы. Когда дверь за ним наконец закрылась, я подошёл к окну. Двор Палаты докладов тонул в мягком свете бумажных фонарей. Старая сосна отбрасывала на каменную дорожку причудливую тень, напоминавшую раскинутые человеческие руки, а возле колодца сидела полосатая кошка, которая, кажется, чувствовала себя единственной законной хозяйкой этого места. Она внимательно посмотрела на меня и совершенно равнодушно отвернулась. В этом было что-то успокаивающее. Животные никогда не интересуются придворными интригами. Им безразлично, кто впал в немилость, кто вернулся из ссылки и чьё имя завтра появится в императорском указе. Для кошки человек остаётся человеком, пока способен налить молока. Я невольно улыбнулся. Странно, но именно в этот момент тяжесть дороги впервые начала отпускать. Возвращение перестало казаться наказанием и стало обычным вечером, в котором есть старая комната, холодный чай, потрескавшаяся чашка и молчаливый двор, сохранивший больше воспоминаний, чем многие люди. Это ощущение оказалось настолько неожиданным, что я почти поверил: ночь пройдёт спокойно. Позже, вспоминая тот вечер, я не раз думал о том, что самые большие перемены никогда не входят в жизнь с шумом. Они появляются незаметно — в виде случайного вопроса, забытой чашки или тихого света в окне соседнего кабинета, где, как мне каза-

лось, уже много лет никто не работал. Я ещё долго стоял у окна, хотя смотреть было уже не на что. Фонари во дворе постепенно гасли один за другим, и лишь возле ворот по-прежнему горел огонь, отражаясь в мокрых камнях после вечерней сырости. Ночная стража сменилась без привычного шума: никто не переговаривался, не смеялся, не жаловался на долгую службу. Люди выполняли свои обязанности так тихо, словно боялись потревожить не спящий город, а собственные мысли. Когда я служил здесь, всё было иначе. Палата докладов никогда не засыпала полностью. Переписчики задерживались до рассвета, споря о формулировках указов, младшие чиновники бегали между корпусами со свитками, а старшие советники неизменно требовали свежего чая именно тогда, когда вода успевала остыть. Я хорошо помнил этот беспорядок. Он казался мне признаком жизни. Теперь же тишина была слишком правильной. Настолько правильной, что постепенно начинала тревожить.

Я уже собирался закрыть ставни, когда услышал осторожные шаги по гравию. Это был не сторож. Не стражник. И не чиновник, который торопится закончить работу. Человек шёл медленно, время от времени останавливаясь, словно проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь за его движением. Я невольно задержал дыхание. Из темноты появился Хэсу. На плече у него висела потёртая дорожная сумка, а в руках он держал длинную бамбуковую палку, без которой не отправлялся в путь уже много лет. Его одежда была покрыта дорожной пылью, седые волосы растрепал ветер, а лицо выражало такое искреннее недовольство миром, что становилось понятно: дорога прошла не лучшим образом. Увидев меня, он даже не ускорил шаг. Остановился возле сосны, поставил сумку на землю и тяжело выдохнул.

— Если кто-нибудь ещё раз скажет мне, что столица находится всего в двух днях пути, я лично заставлю его пройти эту дорогу зимой.

Я невольно улыбнулся.

— Рад видеть тебя.

— Не торопись.

Дай сначала отдышаться. Он сел прямо на каменную ступеньку, снял сандалии и несколько секунд молча растирал уставшие ноги. Потом поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Не мельком, как делают люди при встрече. А долго, почти по-врачебному. Так, словно пытался определить болезнь по одному выражению лица. Наконец он удовлетворённо кивнул.

— Жив.

— Пока да.

— Уже неплохо.

Из сумки появился небольшой свёрток, перевязанный простой льняной нитью. Хэсу развернул ткань, и по двору сразу распространился запах тёплого риса и жареных грибов.

— По дороге остановился у монастыря, — сказал он, будто оправдываясь. — Монахи всё ещё считают, что умеют готовить.

— И как?

— Если очень голоден, то даже неплохо.

Он ел молча. Никогда прежде я не замечал, насколько успокаивает обычная человеческая тишина, в которой не нужно ни оправдываться, ни подбирать слова. Лишь спустя некоторое время Хэсу нарушил молчание.

— Кто-нибудь ещё уже знает, что ты вернулся?

Я покачал головой.

— Скорее всего, знает уже весь город.

Старик нахмурился. Совсем чуть-чуть. Настолько незаметно, что посторонний человек не придал бы этому значения. Но я слишком давно его знал.

— Что случилось?

— Ничего.

Он ответил слишком быстро. Я не стал повторять вопрос.

Когда человек прожил больше семидесяти лет при дворе, он начинает понимать цену каждому слову и каждой паузе. Иногда молчание говорит больше, чем целый государственный доклад. Хэсу медленно налил нам чай и неожиданно перевёл разговор. Стал расспрашивать о северном побережье, о рыбаках, о новых лодках, которые начали строить в порту, о странствующем мастере, умеющем чинить сети без единого узла. Я отвечал. Даже смеялся, вспоминая, как однажды три дня подряд разгружал корабль с солью только потому, что капитан перепутал печати и половину груза пришлось пересчитывать заново. Однако где-то в глубине сознания продолжало жить чувство, что Хэсу намеренно уводит разговор в сторону. Словно существует тема, которой он всеми силами старается избежать. Ветер донёс слабый запах дыма. Не густой, не тревожный, а почти незаметный. Так пахнет старый фонарь, когда в нём догорает масло. Я поднял голову. За крышами Палаты докладов медленно поднималась тонкая струйка сизого дыма. Она исчезла почти сразу, растворившись в ночном воздухе, и любой другой человек решил бы, что ему показалось. Но я слишком много лет работал с архивами, где ошибка в одной строке могла изменить судьбу целой семьи. Поэтому давно научился доверять не громким событиям, а мелочам. Именно мелочи чаще всего оказываются единственной дорогой к правде. Хэсу ещё некоторое время смотрел туда, где над крышами растаял дым, после чего медленно накрыл чайник крышкой и неожиданно сменил тему так резко, что человек, незнакомый с ним, не заметил бы ничего необычного.

— Ты сегодня ел?

Вопрос прозвучал настолько буднично, что я невольно усмехнулся.

— Лепёшку у западных ворот.

— Значит, не ел.

Он покачал головой и, порывшись в дорожной сумке, достал небольшой свёрток, завернутый в грубую льняную ткань. Внутри оказались солёные сливы, ломтики копчёной рыбы и рисовые шарики, которые монахи почему-то всегда делали идеально круглыми, словно полагали, что форма пищи способна приблизить человека к просветлению.

— Они всё ещё уверены, что я слишком худой, — проворчал Хэсу. — Каждый раз пытаются откормить.

— И безуспешно.

— Потому что большую часть дороги приходится кормить возницу.

Мы одновременно улыбнулись. Эта простая шутка неожиданно вернула ощущение прошлого, когда долгие вечера проходили в спорах о древних хрониках, ошибках переписчиков и качестве монастырского чая. Тогда нам казалось, что мир состоит из книг, церемоний и государственных указов. Теперь я слишком хорошо знал, что государство держится не на указах. Оно держится на людях, которые ещё продолжают им верить. Хэсу, словно угадав мои мысли, негромко сказал:

— За три года столица стала осторожнее.

— Я заметил.

— Нет, не заметил.

Он говорил спокойно, не глядя на меня, будто рассуждал сам с собой.

— Ты увидел пустые улицы, закрытые лавки и молчаливых чиновников. Это последствия. Причину ты пока не знаешь.

Я не стал перебивать. Когда Хэсу говорил подобным тоном, лучше было дождаться окончания мысли.

— Люди перестали доверять друг другу. А когда исчезает доверие, государство начинает трещать быстрее, чем старая крыша во время сезона дождей.

Он поднял чашку, но не сделал ни глотка.

— Помнишь министра Чона?

Я кивнул. Это был человек, который однажды три часа спорил с моим отцом о порядке хранения архивов и после этого пригласил его на ужин как лучшего собеседника.

— Он умер прошлой зимой.

— Болезнь?

— Так написали в отчёте.

После небольшой паузы Хэсу добавил:

— Его семья до сих пор не знает, где находится тело.

Я медленно поставил чашку на стол. Подобные вещи не происходят случайно. Не в Верхней столице. Не с человеком такого положения.

— А министр Ли?

— Просит разрешения уйти в монастырь.

— Он терпеть не мог монахов.

— Именно поэтому его прошение и кажется всем убедительным.

Ветер качнул ветви сосны, и по двору медленно посыпались иглы. Одна из них опустилась прямо на поверхность чая и поплыла по кругу, словно маленькая лодка. Я долго смотрел на неё. Когда-то отец говорил, что государственные дела похожи на течение реки. Пока смотришь на поверхность, кажется, что вода спокойна. Но стоит опустить руку глубже, и сразу чувствуешь сильное подводное течение. Сейчас у меня возникло именно такое ощущение. Снаружи всё выглядело привычным. Император правил. Чиновники составляли доклады. Храмы принимали паломников. Рынки открывались с рассветом. Но где-то под этой размеренной жизнью уже двигалось нечто невидимое. Именно поэтому город говорил вполголоса. Именно поэтому старый стражник посоветовал не гулять ночью. Именно поэтому Хэсу приехал без предупреждения, хотя терпеть не мог дальние поездки. Я хотел спросить его об этом прямо. Но в этот момент со стороны главных ворот донёсся глухой удар. Не тревожный колокол. Не барабан стражи. Просто звук тяжёлых створок, которые открыли среди ночи. Хэсу поднял голову. Я тоже прислушался. Через несколько мгновений по двору быстро прошёл смотритель. Он заметил нас не сразу и вздрогнул так искренне, что едва не выронил фонарь.

— Господин Асахи...

Он тяжело перевёл дыхание.

— Простите, что беспокою.

У ворот прибыл дворцовый гонец. Говорит, что приказ изменился.

— Император желает видеть вас не утром. А до рассвета.

Во дворе снова стало тихо. Даже ветер, казалось, на мгновение стих. Я посмотрел на Хэсу. Он медленно закрыл глаза, словно услышал именно то, чего опасался всю дорогу. И только потом произнёс негромко:

— Плохой знак. Очень плохой.

Смотритель всё ещё стоял у крыльца, не решаясь поднять голову. Фонарь в его руке слегка покачивался, и от этого тени на стенах медленно двигались, будто кто-то бесшумно ходил по пустым коридорам Палаты докладов. Я заметил, что он успел накинуть поверх домашней одежды форменную куртку, но завязал пояс неровно, чего прежде никогда не случалось. Старик принадлежал к тем людям, для которых порядок был не привычкой, а способом существования. Если он забыл поправить одежду, значит, действительно спешил.

— Гонец ждёт?

— Да, господин.

— Один?

Смотритель замаялся.

— Насколько я понял... с ним ещё шестеро дворцовых стражников.

Хэсу тихо вздохнул. Звук был почти неразличим, но я хорошо знал его. Так он вздыхал всякий раз, когда понимал: неприятности уже случились, и обсуждать, можно ли было их

избежать, совершенно бессмысленно. Я машинально посмотрел на небо. Туман, встретивший меня у городских ворот, окончательно рассеялся, и между чёрными ветвями сосны были видны холодные звёзды. Ночь казалась удивительно ясной, словно сама природа решила убрать всё лишнее и оставить только самое необходимое: камень, дерево, небо и человека, который слишком поздно вернулся домой.

— Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил я, не оборачиваясь.

Хэсу не ответил сразу. Он долго складывал в узелок недоеденные рисовые шарики, тщательно вытирая пальцы полотняной салфеткой, и лишь затем произнёс:

— Хочу.

— Тогда говори.

— Не сегодня.

Я усмехнулся.

— Ты никогда не меняешься.

— Именно поэтому до сих пор жив.

В его словах не было шуток. Это обстоятельство беспокоило меня больше всего. За три года ссылки я почти разучился слышать скрытый смысл обычных разговоров. В рыбацком посёлке люди говорили прямо: если лодка прохудилась, её чинили, если улов был плохим, жаловались на море, а если человек умирал, никто не придумывал красивых объяснений.

Столица жила иначе. Здесь каждое второе слово было маской, за которой пряталось третье, а каждое молчание порой значило больше, чем целый государственный указ. Я снова почувствовал себя учеником, которого после долгого отсутствия посадили за знакомый стол, но забыли предупредить, что правила давно изменились. Из темноты двора донёсся негромкий звон. Полосатая кошка, до этого сидевшая возле колодца, легко перепрыгнула на деревянную ограду и замерла, насторожив уши. Через несколько мгновений показались люди. Впереди шёл молодой гонец в тёмно-синем плаще. За ним, соблюдая одинаковое расстояние, двигались шестеро дворцовых стражников с закрытыми фонарями. Не вооружённый конвой. И не почётное сопровождение. Что-то среднее. Настолько неопределённое, что от этого становилось ещё тревожнее. Гонец остановился в нескольких шагах от крыльца и поклонился. Он был очень молод — вероятно, моложе Мён Джуна, — но лицо его сохраняло ту неподвижность, которой придворных учили раньше, чем письму.

— Советник Асахи?

Я едва заметно поморщился. За три года никто не называл меня этим титулом. Он звучал непривычно, словно чужое имя.

— Слушаю.

Юноша протянул небольшой свиток. На этот раз печать была выполнена чёрным воском. Я провёл по ней пальцем. Личный знак главы внутренней канцелярии. Не императора. Это показалось мне странным. Император редко отзывал человека ночью через посредника. Тем более человека, который вернулся в столицу всего несколько часов назад. Я развернул свиток. Внутри оказалось всего две строки.

«Прибыть немедленно. Следовать без остановок».

Ни подписи. Ни объяснений. Только отпечаток чёрной печати, похожий в свете фонаря на застывшую каплю крови. Я свернул бумагу и неожиданно поймал себя на мысли, что не испытываю страха. Только любопытство. Именно оно однажды погубило моего отца. И, возможно, теперь собиралось погубить меня. Гонец терпеливо ждал. Он не торопил меня, не смотрел по сторонам и вообще производил впечатление человека, которому ещё в детстве объяснили, что собственные мысли могут стать опасной привычкой. Стражники стояли немного позади, сохраняя одинаковое расстояние друг от друга. Свет их закрытых фонарей падал на гравий узкими золотистыми полосами, не достигая ни сосны, ни стен Палаты докладов, словно темнота имела право оставаться темнотой.

Я накинул дорожную накидку и машинально коснулся внутреннего кармана. Старая кисть для письма была на месте. Эта привычка появилась ещё при отце. Он всегда говорил, что чиновник без кисти похож на солдата без меча: в обоих случаях человек остаётся жив, но перестаёт быть самим собой. Странно, сколько ненужных вещей сохраняет память. Лицо человека забывается за несколько лет. Запах дома — за несколько месяцев. А одна случайная фраза может прожить в голове всю жизнь. Хэсу поднялся со ступеней с неожиданной лёгкостью, словно усталость последних дней существовала только для посторонних.

— Я пойду с тобой.

Гонец впервые позволил себе поднять глаза.

— Простите, почтенный, но распоряжение касается только советника Асахи.

Хэсу спокойно кивнул. Он не стал спорить. Не попросил сделать исключение. Только подошёл ко мне так близко, что его голос услышал лишь я.

— Когда увидишь первого министра, смотри не на лицо.

— А на что?

— На руки.

Я вопросительно посмотрел на него. Старик едва заметно улыбнулся.

— Лицо человек контролирует всю жизнь. Руки начинают говорить правду, когда хозяин об этом забывает.

Он поправил воротник моей накидки, как делал это отец ещё тогда, когда мне было двенадцать лет, и неожиданно добавил:

— И ещё. Не соглашайся ни с кем сразу. Даже если тебе покажется, что он на твоей стороне.

Я хотел спросить, откуда такая осторожность, но Хэсу уже отступил на шаг и снова превратился в спокойного старика, которого больше интересует чай, чем государственные дела. Мы вышли за ворота Палаты докладов. Ночная столица встретила нас почти полной тишиной.

Широкие улицы, которые днём были заполнены чиновниками, торговцами и носильщиками, теперь казались непривычно пустыми. В свете редких фонарей влажные камни мостовой поблёскивали так, будто их покрыли тонким слоем чёрного лака, а крыши домов терялись в темноте, оставляя видимыми только изогнутые концы карнизов. Я шёл рядом с гонцом и невольно отмечал мелочи. Закрытая чайная лавка. Потухший фонарь возле склада. Новая калитка в стене храмового сада. Когда-то отец говорил, что настоящий советник обязан замечать изменения раньше остальных. Не потому, что обладает особым умом. Просто государство меняется постепенно, и сначала перемены появляются именно в мелочах. Если исчезли уличные музыканты, через год исчезнет праздничное настроение. Если люди перестали разговаривать по вечерам, скоро они перестанут доверять соседям. А если стража начинает сопровождать обычного чиновника шестью вооружёнными людьми, значит, кто-то во дворце уже решил, что страх — лучший способ сохранить порядок. Мне вдруг пришло в голову, что за три года ссылки я почти перестал думать подобными категориями. На берегу моря всё было проще. Прилив приходил независимо от желаний наместника. Шторм не спрашивал разрешения у министров. Рыбак, поймавший хорошую сеть сельди, становился счастливее любого придворного. И именно поэтому люди там старели медленнее. Мы свернули на Дорогу Благовоний. Ветер донёс слабый аромат сандала и горькой полыни из ночного храма. Когда я был ребёнком, здесь всегда горели сотни фонарей. Теперь их осталось не больше десятка. Возле ворот сидел старый монах. Он даже не поднял головы, когда мы проходили мимо. Только тихо произнёс, словно обращаясь к самому себе:

— Пепел дольше хранит память об огне, чем камень.

Я невольно замедлил шаг. Фраза показалась странной. Слишком странной для случайного замечания. Гонец, однако, никак не отреагировал, а стражники продолжили идти с прежней скоростью. Когда я обернулся, монаха уже не было. Лишь маленькая курильница про-

должала выпускать тонкую струйку дыма, которая медленно растворялась в холодном ночном воздухе. Впереди, за поворотом улицы, показались дворцовые стены. Они возвышались над городом так же величественно, как и три года назад, но сейчас мне почему-то казалось, что белый камень потемнел. Наверное, дело было не в стенах. Некоторые места меняются только потому, что меняемся мы сами. И всё же, глядя на дворец, я неожиданно почувствовал то же самое, что чувствовал перед сильным штормом на северном побережье. Море ещё спокойно. Ветер почти не ощущается. Даже чайки продолжают кружить над водой. Но где-то далеко, за линией горизонта, уже рождается волна, которая очень скоро дойдёт до берега и сметёт всё, что люди считали незыблемым. Чем ближе мы подходили к дворцу, тем отчётливее я понимал, что за три года успел забыть не лица людей и не расположение улиц, а то особое чувство, которое всегда испытывал, переступая границу Внутреннего города. Здесь даже воздух казался другим. Он пах не рыбой, дымом и пряностями, как в торговых кварталах, а влажным камнем, кипарисовой смолой и дорогими благовониями, которые жгли в залах для приёмов. Этот запах невозможно было спутать ни с каким другим. Он въедался в одежду, в волосы, в страницы документов и сопровождал человека ещё долго после того, как тот покидал дворец. Когда-то я ненавидел его. Потом привык.

Теперь он неожиданно вернул мне воспоминания, которые, как мне казалось, давно исчезли. Я вспомнил, как отец, готовясь к очередному заседанию Государственного совета, всегда задерживался у ворот и несколько секунд молча смотрел на дворцовые стены. Однажды, будучи ребёнком, я спросил его, зачем он это делает. Он ответил не сразу.

«Чтобы оставить за воротами всё лишнее. Если приносить во дворец собственные обиды, страхи и желания, рано или поздно начнёшь принимать их за государственные интересы».

Тогда я не понял этих слов. Теперь они звучали почти как завещание. Мы остановились перед внешним постом стражи. Начальник караула вышел нам навстречу и, увидев свиток с чёрной печатью, не стал задавать ни одного вопроса. Его лицо осталось совершенно спокойным, однако рука, державшая фонарь, едва заметно дрогнула. Такое движение трудно заметить случайному человеку. Но три года работы с архивами научили меня обращать внимание именно на подобные мелочи. Люди лгут словами. Тело делает это значительно хуже. Ворота открылись почти бесшумно. Я ожидал увидеть освещённые галереи, спешащих евнухов, слуг с фонарями и ночных переписчиков, но внутренний двор оказался почти пустым. Два садовника, несмотря на поздний час, аккуратно собирали опавшие листья. Возле галереи неподвижно стоял старый евнух. А на поверхности пруда медленно покачивались белые лепестки лотоса. Такая спокойная картина почему-то насторожила меня сильнее любого крика. Дворец никогда не бывает тихим. Даже ночью здесь кто-нибудь обязательно спорит, пишет доклады, переносит архивы или обсуждает очередной указ. Сегодня же всё выглядело так, словно люди намеренно старались не производить лишнего шума. Мы прошли ещё несколько десятков шагов. Гонец вдруг остановился.

— Дальше я не имею права сопровождать вас, господин.

Он поклонился и отступил в сторону. Из тени колоннады вышел человек в тёмной одежде без каких-либо знаков различия. На первый взгляд его можно было принять за обычного дворцового служащего, если бы не одна деталь. Его обувь была совершенно чистой. Даже подошвы. Человек, который всю ночь ходит по дворцу, не может сохранить обувь в таком состоянии. Значит, он долго стоял на одном месте и ждал именно меня. Он сложил руки в рукавах и негромко произнёс:

— Советник Асахи.

Я поклонился.

— Следуйте за мной.

Никаких объяснений. Никаких приветствий. Мы шли длинными переходами, где свет фонарей ложился на пол узкими золотыми полосами, а между колоннами прятались островки темноты. Иногда мне казалось, что за ними кто-то наблюдает, но каждый раз там оказывались лишь старые ширмы, бронзовые курильницы или ветви сосен, качавшиеся за открытыми окнами. Неожиданно проводник свернул в небольшой внутренний сад. Я остановился. Этой дороги раньше не существовало. По крайней мере, для советников. Здесь не было пышных клумб и декоративных беседок. Только старые камни, низкие сосны и небольшой пруд, поверхность которого отражала ночное небо так ясно, словно вода исчезла, оставив вместо себя чистое стекло. Посреди сада стояла одинокая каменная скамья. На ней сидел человек. Он был одет просто, без церемониальных одежд и драгоценностей. В руке он держал чашку с чаем и смотрел на карпа, лениво плававшего возле берега. Если бы я встретил его на улице, то решил бы, что передо мной усталый учёный или пожилой поэт. Но рядом, на каменном столике, лежала нефритовая печать Сына Неба. Проводник опустил на колени. Я сделал то же самое. Человек ещё несколько мгновений молчал, словно не замечая нашего присутствия. Потом посмотрел на меня. И неожиданно улыбнулся. Не императорской улыбкой, которую отбатывают перед зеркалом. А улыбкой человека, который наконец увидел старого знакомого.

— Поднимайся, Асахи. Я слишком устал, чтобы разговаривать с собственной спиной.

Именно в этот момент я понял, что ночь только начинается. Император не спешил начинать разговор. Он бросил в пруд маленький кусочек хлеба, и из темной глубины медленно поднялся карп, почти черный, с едва заметной золотой полосой вдоль спины. Рыба сделала круг, коснулась поверхности воды и снова исчезла, оставив после себя расходящиеся кольца. Я смотрел на них и неожиданно поймал себя на мысли, что государственные дела удивительно похожи на этот пруд. Стоит одному человеку коснуться поверхности — и волны расходятся далеко за пределы того места, где они появились. Император проследил за моим взглядом.

— Ты всегда сначала смотришь на воду.

— Она редко лжет.

Он тихо усмехнулся.

— Значит, ссылка не испортила тебя.

— Если человек три года живет среди рыбаков, он начинает понимать воду лучше людей.

— А людей?

Я ответил не сразу.

— Их я понимаю всё хуже.

Он кивнул, словно именно такого ответа и ожидал. Несколько мгновений мы молчали. Ночь была удивительно спокойной. Из дальней галереи доносился едва различимый шум ветра, в ветвях сосны стрекотало какое-то насекомое, а где-то за дворцовыми стенами пробил колокол ночной стражи. Три удара. Потом тишина. Император осторожно поставил чашку на каменный столик. Я обратил внимание, что чашка была простой, без золота и нефрита, из серой обожжённой глины, с маленькой трещиной возле края. Она не подходила человеку, который правил Бохаем. Именно поэтому она мне понравилась.

— Ты заметил изменения в городе?

— Да.

— Какие?

Я задумался. Можно было ответить о пустых улицах, о молчаливых торговцах или о потухших фонарях. Но всё это были лишь следствия.

— Люди перестали смотреть друг другу в глаза.

Император поднял голову. На его лице впервые появилось выражение настоящего интереса.

— Почему ты так решил?

— Стражник у ворот говорил со мной, глядя на печать. Молодой чиновник постоянно смотрел в пол. Даже смотритель Палаты докладов не поднял головы, когда передавал известие о вашем приказе. Они боятся не ошибиться. Они боятся быть замеченными.

Император долго молчал. Потом взял со стола небольшой камешек и бросил его в пруд. Карп мгновенно исчез.

— Ты видишь только поверхность, Асахи.

— Для начала этого достаточно.

— Нет.

Он впервые посмотрел мне прямо в глаза.

— Если люди перестают доверять друг другу, значит, кто-то научился извлекать выгоду из их страха.

Его голос оставался спокойным, но именно это спокойствие заставило меня насторожиться. Человек, привыкший управлять огромной страной, не станет вызывать ночью бывшего советника только ради философской беседы. Значит, разговор ещё даже не начинался. Император поднялся и медленно прошёл вдоль пруда. В лунном свете его тень казалась длиннее самого сада. Он остановился возле старого клёна, коснулся ладонью шероховатой коры и негромко сказал:

— Помнишь своего отца?

Вопрос оказался неожиданным. Слишком неожиданным. Я почувствовал, как внутри что-то болезненно сжалось.

— Каждый день.

— Он был единственным человеком при дворе, который спорил со мной до конца.

— Поэтому его и не любили.

Император неожиданно улыбнулся.

— Нет. Поэтому его уважали.

Он замолчал. Ветер медленно шевелил широкие рукава его одежды. Лист клёна сорвался с ветки и опустился прямо к его ногам.

— Перед смертью он сказал одну странную вещь.

Я поднял голову.

— Он сказал: "Берегитесь не тех, кто мечтает занять Жемчужный трон. Настоящую опасность представляют те, кто хочет, чтобы однажды он оказался пустым."

Никогда раньше я не слышал этих слов. Отец ничего подобного мне не говорил. И это означало, что последняя беседа между ним и императором осталась тайной. Император медленно повернулся. В его руках появился тонкий шелковый свёрток, перевязанный выцветшей синей нитью. Он не сразу протянул его мне. Сначала внимательно посмотрел так, словно пытался понять, остался ли перед ним тот самый человек, которого три года назад отправили на север, или ссылка успела изменить его сильнее, чем время.

— Сегодня вечером, — произнёс он почти шёпотом, — из Императорского архива исчез один свиток.

Я машинально протянул руку. Но он не отпустил свёрток.

— Его нельзя было украсть.

— Почему?

— Потому что никто, кроме меня, не должен был знать о его существовании.

Лишь после этих слов он разжал пальцы. Шёлк оказался неожиданно тяжёлым. А в этот самый момент, где-то далеко за дворцовыми стенами, в ночной тишине раздался протяжный звук тревожного колокола. Первый за много лет. И впервые с момента возвращения я понял, что моя ссылка действительно закончилась. Она просто сменилась другой — той, из которой уже невозможно будет уйти к морю, рыбакам и спокойной жизни, потому что теперь сама память о прошлом стала предметом охоты.